

**Марина
ГУСАКОВА**

с. Кончезеро

Тополь, колодець и ...домовой



С поезда отец успел письмо прислать, веселое стакое, мама еще смеялась. А дня через три зашла к соседке, муж которой был призван вместе с отцом, а та и прочитала: «Приняли первый бой. Степан Васильевич с поля боя не вернулся...»

А финны уже к нашему городу подступали. Первого сентября собрали нас во дворе школы и объявили, что занятий больше не будет. Мы обрадовались, кричали «ура!», а учителя, глядя на нас, плакали.

Мы тогда решили уехать из города. Перед самым отъездом мама отвела нашу корову Бельку в заготконтору, куда со всех сторон сгоняли скот: армии нужно было мясо. Привязали её к столбу, а мама и говорит: «Не убивайте, пока не уйду». А та словно чувствовала, что прощаются с ней: глаза черные, влажные, будто плачет.

Долго мама не могла забыть её: «Каждый день пользу приносила. И все молча. На смерть повели, молчала. Вот уж точно говорят – «скотина бессловесная». Разве она виновата, что горе вокруг такое».

Бабушка Мария Михайловна уезжать не хотела. «Помру, так в родную земельку положат». Плакала всё да целовала нас всех по очереди, а то бросалась избу убирать и снова плакала, словно знала, что в последний раз видит свою Машеньку...

Собрались мы, а куда, и сами не знаем. Лишь позже узнали, что везут нас в далекую Сибирь, в Красноярский край. Ехали целый месяц. Не было ни радио, ни газет. В вагоне нары да печка-временка с трубой на улицу. Народу битком. Грязные, голодные; тех, кто умирал, прямо на ходу выбрасывали. Хорошо хоть бомбежки не видели. Кого эвакуировали пароходами по Онего, говорят, сильно бомбили. Несколько барж с людьми затонуло. Нас Бог миловал. Хотя за долгую дорогу чего только не было.

Раз на каком-то перегоне стояли, а тут эшелон с ранеными подошел. И какая-то женщина в одном из окон мужа своего увидела. Заплакала,

Окончание. Начало в №9-10, 2020

запричитала, а он, родимый, и выйти не может. Тут все из нашего эшелона высыпали, стали о своих спрашивать. Но санитарный эшелон долго не держали, через некоторое время тронулся...

А на одной из станций я от поезда отстала. В каком-то городе молоко давали. Мама и сунула мне в руки бутылку, а сама спросила у обходчика, долго ли стоять будем. Тот лишь плечами пожал. И только я купила молока, как эшелон наш дернулся. Я – бегом. Бегу, а сама боюсь молоко пролить. Еще галоша с ноги вылетела. Пока нашла... А вагоны мимо мелькают, один за другим. Я стою: в одной руке – бутылка с молоком, в другой – галоша. Из каждого вагона руки тянутся: «Бросай все, что в руках!» А я держу, крепко держу, ведь Толька с Борькой уже несколько дней голодные сидят. И вдруг какой-то старик из последнего вагона выхватил у меня и бутылку, и галошу.

Так я и осталась. Стою, реву. А уж темнеть стало, страшно. Пришла на станцию, а там на меня никто внимания не обращает. Тогда я толкнула какого-то дядьку в железнодорожной форме и говорю: «Дяденька, я от поезда отстала». На что он отвечает: «Не мешай работать, много вас таких».

Вышла я на улицу, а холодно, и очень есть хочется. Вдруг смотрю: котенок – пушистый комочек. Взяла его на руки, а тут и дядька тот подошел: «Тебе сколько лет-то?» – спрашивает.

– Двенадцать.

– Бегать, прыгать умеешь?

– Умею, – отвечаю, а у самой зуб на зуб не попадает, и котенок за пазухой пищит.

– Ну, вот что. Сейчас пойдет эшелон комсостава, он и догонит твою маму. Но останавливаться он здесь не будет. Вот так красным флажком махну, тише пойдет. Тут ты и запрыгнешь. Поняла?

Я в слезы: «А вдруг я под поезд попаду?» Мужик рукой махнул: «Ну, и черт с тобой».

– Хорошо, дяденька, я поняла.

И действительно, как только он флажком махнул, грохочущий состав пошел тише. Вдруг подхватили меня чьи-то руки. Большие, сильные, как у отца. И поехала я, а дядька на перроне улыбается, машет вслед рукой, но мне уже было не до него: я опять принялась реветь. Все, кто был в вагоне, собрали мне целую сетку всякой всячины. А во всех карманах у меня были кедровые орехи.

На станции Большая Тайга я наконец догнала свой эшелон. Помню, бегу вдоль вагонов, падаю и вижу: где-то в самом конце поезда женщины держат за руки мою маму. А она кричит: «Клава-а-а!» Вырвалась. Бежит мне навстречу. Волосы распущены, глаза черные, страшные, обняла меня и давай целовать, плакать...

Как только я в свой вагон зашла, Толька с Борькой с нар сползли, захныкали: «Мамочка, мы есть хотим». Двое суток, пока меня не было, молчали. И тут я вспомнила, что забыла и сетку с продуктами, и котенка. Уехал он вместе с комсоставским эшелоном формировать, как я уж сейчас поняла, новые сибирские дивизии для битвы под Москвой. Маленький серенький комочек, Клавком, как его прозвали офицеры. Это значит Клавкин комочек, и в то же время звучит по-военному.

Пока до места добрались, я еще один раз чуть не отстала. Но меня успели подхватить в одном из вагонов. Тут уж мне мама всыпала, а так ни разу во время войны она нас даже не ругала. Приехали в Красноярск, а нас там не приняли, приказали везти обратно. Бабы еще у проводницы спросили, мол, в чем дело, а та зло так ответила: «Война кончилась». Но все почему-то поверили. Мама обрадовалась: «Ой, дети, скоро дома будем». Верили, что война ненадолго. А оказывается, Красноярск нас не принял, потому что только за день до нас два эшелона с евреями прибыло. И поехали мы, но не домой, а в Кировскую область. Как сейчас помню, деревня Железковка. Пришла за нами на станцию старуха: «Вы, что ли, кавырованные?» И повела к себе в дом. Звали её Даниловной. Имени вот не помню. Старика своего она давно похоронила, один сын воевал, а на другого уж похоронку получила.

Нам, детям, она казалась сердитой, неразговорчивой. Но мама убеждала нас в том, что Даниловна очень добрая. Вот у неё-то и стали мы жить.

Ох, и голодно жили. Помню, в школе на уроке сижу, а впереди парнишка один, из местных. Каждый день у него в парте тетерка лежала (это лепешка такая, овсяная). И смотрела я все уроки неотрывно только на неё. Парень как-то раз обернулся, видно, спросил что, а я и не слышу, на лепёшку гляжу. Кусок отломил, протягивает, но я не взяла. Тогда ещё голод не взял верх над гордостью.

А учительница была тоже из «кавырованных», как говорила Даниловна. Звали её Софья Михайловна. Сама ростом маленькая такая, а коса настолько тяжелая, что голову назад оттягивала. Красивые были волосы, но одна прядь была седая, и потому Софья Михайловна казалась нам старой. А уж строгая была!

Помню, я слово «фашистский» написала без – ст. Открываю тетрадь, а там – «очень плохо». Подошла ко мне, а ходила всегда прямо, и говорит: «Как тебе не стыдно, Клава? Такая война идет с фашистами. А ты ошибки в этом слове делаешь, сто раз напиши, чтобы на всю жизнь запомнить». И ведь написала. Я по всем предметам училась

на «отлично», а по немецкому – «очень плохо», не хотела учить язык тех, кто отца моего убил.

Мама на железной дороге работала, снег убирала. Зимы там снежные, так что работы хватало. Мастером у них был Беда (подходящая для времени фамилия). Да двенадцать баб с ним, и у каждой дома дел полно и дети голодные. Предложил Беда им освободить сегодня одну от работы, завтра другую. Работали на совесть: руки, ноги морозили. Только снег уберут, а он снова выпадет. Как говорил Беда: «У Бога счетчика нет: сегодня завьюжило, завтра снегом запорошило».

За свою работу мама получала немного хлеба. И я, как старшая, делила его. А как поделишь, когда делить-то нечего? Борьке с Толькой почти все отдам, а себе накрошу чуть-чуть да водой разведу, чтоб больше было. И начала я от такой пищи пухнуть. Мама вначале думала, что дочь её поправляться стала, а как раздела меня: кожа что у кролика: все синенькие прожилки видны. Вот она тогда все камни, золото да жемчуг и променяла на хлеб.

А когда Кубань освободили, решено было отправить нас туда. Жалко нам было с Даниловной расставаться. Уж больно полюбили мы эту суровую на вид старуху. И она к нам привыкла, а уж в Борьке так души не чаяла. Да и тот к ней привязался. Видно, скучал по своей бабушке. И так же, как и ту, просил Даниловну сказки перед сном рассказывать. А как-то раз спрашивает её: «Бабушка Даниловна, а у тебя домовой есть?»

– Да какой домовой, – говорит, – когда беда вокруг такая! Петухи и те кричать перестали. А домовой теперь, поди, в поездах обитает. Слышали, калеки, что в поездах кормятся, песню поют. «Домовой» называется.

Когда мы уезжали, она нас провожать пошла. У самого поезда молча всех перекрестила, сунула маме в руки какой-то узелок и, не оглядываясь, побрела домой. Она ведь и на второго сына похоронку получила...

Как приехали на место, разместили нас на бывшем полевом стане. Мы его еще «табором» прозвали, так как жило на нем девять семей. Печку соломой да кизьяками топили. Из одежды ничего почти не было. Мама сшила мне, помню, кофту из наволочки, подсинила немного. Вот в ней я и ходила. Но хоть голода, такого, как в Кировской, не было, и то ладно. Меня на Кубань привезли очень слабой. Бывало, на солнышко вынесут и положат прямо на землю. Все думали, что не выжить мне. Но как-то раз мама спросила: «Может, ты чего-нибудь хочешь, Клавочка?» И мне вдруг вспомнился запах борща и овсяного хлеба. «Хочу крас-

ного супа и хлеба». Тогда мама взяла шёлковое покрывало да свою синюю шерстяную кофту (отец её очень любил) и пошла в станицу. Там продала и семь километров несла, сама голодная, тарелку «красного супа» да ломоть овсяного хлеба.

Помню, пришла она, положила все передо мной и заплакала. Думала: стоит мне это съесть, как я умру. Но я поела, облизала тарелку и заснула. Долго спала, больше суток. И все это время мама сидела рядом. А как проснулась, снова попросила есть. «Ну, все, жить будет», – вздохнула мама.

Спустя время я даже работать пошла. Пасла телят в колхозе. Мама в тракторной бригаде работала. А Борька с утра до вечера возле трактора кружился. Но и учился хорошо, смысленый был, боевой.

А вот Толька... Его война больше всего поломала. Прямо как та трещина по зеркалу по жизни его прошла. Он и до войны все один играл, а тут и совсем одичал. К реке убежит и сидит там, подперев щеки кулаками. А то в степь уйдет.

Помню, когда мама заболела воспалением легких, он подошел к ней и говорит: «Мама, не умирай, пожалуйста». А какая-то старуха и шепни ему: «Ты помолись боженьке, мама и выздоровеет». Так он убежал в кукурузу и целый день там молился. Мама поправилась, а Толька стал верить в Бога.

Однажды потерял он ножницы – одни на весь «табор». Хотел маме цветов нарезать. И вот молился он, молился, да и нашел ножницы там, где потерял. Так стеснялся говорить, что молится, а тут, обрадовавшись, бежит домой и кричит: «Только я боженьке помолился, глядь, а ножницы и лежат».

Еще подружился он с Петькой Хромым. Был он тоже из эвакуированных, а занимался тем, что ходил по хуторам, просил милостыню. На Кубани калек очень жалеют. Бывало, столько ему подадут, что еле мешок за собой волочат. И вот предложил он Тольке вместе милостыню просить. Пришли они в дом к одной старухе, у которой сына на фронте убили, и давай канючить. Петька Хромой прямо у порога молиться начал, глаза свои красные, слезящиеся закатил и тонким противным голосом затянул: «Подайте, Христа ради, сироте хромому».

Пока старушка сыпала ему крупы, он стянул со стола несколько кусков сахара. Когда они вышли, у Тольки на глазах слезы выступили. Кулачки сжимает: «Зачем ты это сделал?» – «Тю, блаженный!» – присвистнул Петька и пошел дальше, усиленно хромая и волоча за собой пыльный мешок.

Толька вернулся в дом, попросил у бабушки прощения, а та, тяжело вздохнув, долго гладила его по

голове. Прибежал он домой, маму ручонками обнял, плачет, слезами захлебывается. «Мама, – говорит, – нету Бога, раз он позволяет Петьке воровать». Мама посмотрела ему в глаза и говорит: «Если мы в Кировской от голода пухли, но милостыню не просили, то здесь-то должно быть совсем стыдно. А Бог? Пусть он в сердце твоём живет».

Только перестал молиться, но играл по-прежнему один. Нелюдимый он какой-то. Сейчас вот до седых волос дожил – ни ребят, ни котят. А ведь какие девушки у него хорошие были, а так и не женился. Станный он какой-то, только для себя живет. Ведь сказать кому, что родные брат с сестрой в одном доме, в соседних подъездах живут, а годами друг с другом не общаются, так никто не поверит. Конечно, он и сам по себе такой, да и война еще эта проклятая.

Зато, помню, как кончилась война, люди по степи шли, целовались друг с другом, радовались. А мама заплакала: «Господи, скоро дома будем. Счастье-то какое!» Но не было денег, чтобы ехать обратно. И пришлось нам на Кубани еще месяца три пробыть.

Помню, как-то раз привезли в станицу эшелон с пленными. А я немцев никогда не видела. Думала, нелюди какие, как на плакатах да в газетах их рисовали. А как увидела, так даже вскрикнула: «Да це ж люди?!» Голодные, грязные. Особенно один молоденький фриц запомнился. Глаза голубые-голубые, над губой едва пушок пробивается. «У, фашистское отродье», – сказал кто-то рядом. А мне почему-то жалко его было. Ну совсем мальчишка, чуть постарше Борьки нашего. И такого молодого уже убивать научили. А ведь он, оказавшись здесь мать его, уткнулся бы в неё и плакал что ребенок, сопли утирая. Будь же проклят тот, кто сунул в руки этого ребенка оружие.

Вернулись мы домой по вербовке. Помню, поехали мы с мамой в станицу за мукой, и кто-то сказал, что вербуют на работу в Карелию. Мы так обрадовались, что и про муку забыли. Сели в телегу и поехали обратно. А уж стемнело. Вдруг видим огоньки в темноте. Волки! Девять пар глаз. Лошадь испугалась, понеслась очертя голову, а они все ближе и ближе. Мы давай кричать. Пока кричим, они стоят, как замолчим, вновь приближаются.

Мама тут и говорит: «Клавочка, я сейчас с телеги слезу, пока меня едят, ты сможешь спастись». Но, на наше счастье, откуда ни возьмись несколько телег с мужиками. Так вот и спаслись.

По дороге домой я войну лишь и увидела. По обе стороны дороги груды сгоревших вагонов. «Господи, сколько людей-то здесь погребено!» – крестились бабы.

Около Рязани Борька отстал. Но мама уже так не расстраивалась. «Он парень, знает, куда едем, а главное, война кончилась!»

Как к дому подъезжать стали, за окнами лес стеной встал. Как мы соскучились по лесу! Скалы, озера, красоты-то какая! А как в город въехали – одни пепелища. Всего два каменных дома и осталось. Жители их «Севастополем» да «Сталинградом» прозвали.

Бабушку мы не застали, соседи сказали, что в сорок четвертом году, когда многие вернулись из эвакуации, она сошла с ума, думая, что её Машенька умерла. Все бегала по двору и кричала: «Где моя Машенька?» А перед смертью, за месяц до нашего возвращения, пришла в себя. И, умирая, просила: «Степан погиб. Машеньки, видно, живой нет. А дети-то... Дети-то живы. Найдите их, позаботьтесь».

В доме кругом паутина, окна побиты, потолки от сажи черные. Вымыли мы все, вычистили, печь затопили, однако прежнего тепла почему-то не было.

Подселили к нам в дом семью погорельцев да одну молодую учительницу. Когда они пришли, мама сказала: «Живите на здоровье, и нам веселее будет». Наделали полатей да на них и спали. А как солнышко весной пригрело, ушли они по квартирам.

И снова голод! Помню, Только грамоте учу, а в букваре рядом с буквой «Т» тарелка с кашей нарисована. «Какая это буква?» – спрашиваю. А он: «Каша».

Поэтому и запомнился день, когда отменили карточки.

Мама тогда работала в поликлинике ночным сторожем. Мы прибежали к ней, вымыли полы, дров натаскали. А потом все вместе пошли в магазин и купили буханку черного хлеба, батон и масла. Домой пришли, так хорошо, уютно показалось. Как за стол сели, ну, думаем, наедимся хлеба досыта. А всего лишь по кусочку съели и больше не могли. Мама заплакала: «Бедные вы мои! Желудки, видно, совсем истощились». А потом спохватилась: «Да что ж я, дура, плачу-то». И заплакала: «Что ж ты, бабочка молоденькая, чернобровенька, хорошенькая! Ох, не ты ли меня высушила, без морозу сердце вызнобила». Да как пошла в пляс. «Какая жизнь хорошая наступает, а песни какие! Живите, дети, по песням, и вся ваша жизнь как одна песня сложится».

И казалось тогда, что вернулось в дом счастье. Да, видно, показалось.

Со временем мы выросли, выучились, работать стали. Я замуж вышла. Да что про это замужество рассказывать... Был он веселый, красивый.

Как выпьет, бывало, так все меня «маэстро» звал. Раньше боксом занимался, да потом бросил; в пьянку-гулянку пустился. Каждый день то к нам гости, то мы куда-нибудь идем.

Устала я от такой жизни, но терпела, думала: переберется. Да и дочка у нас родилась, Галочка. Такая хорошенькая, смышленная! Да, видно, годик всего и суждено ей было на земле прожить. Умерла от дифтерита...

А уж после её смерти я со своим «милым» и дня жить не стала. Опостылел он мне.

Тут ещё с Борисом беда. Вот уж точно говорят, пришла беда – отворяй ворота. Работал он, как и отец, на сплаве. Да как-то раз упал неосторожно, головой о бревно ударился. Долго лежал в больнице, а когда вылечился – на работу вернулся. Только спустя время стали случаться с ним припадки. И все чаще и чаще. Куда только не ездили, в Москве были. Какой-то профессор сказал: «После двадцати лет или поправится, или хуже будет».

Ему стало хуже.

Однажды упал прямо на работе, люди собрались, начали жалеть его. А он с детства не любил, когда его жалеют, гордый был... Потом и вовсе на улице падать стал. В общем, не выдержал он. Повесился, чтоб ни себя, ни других не мучить. Ох, глупый! А ведь как жизнь любил, людей! Девушка у него была, такая хорошая! Любили друг друга...

После смерти узнали причину болезни: маленький кусочек мяса прорастал внутрь и задевал мозг. Видно, тогда зашили неаккуратно.

А вскоре и мама... Не могла смерти Бориса пережить.

Вот так в одно время и не стало большой семьи. Остались мы с Толькой одни на всем белом свете. Видела бы мама нас сейчас. Вчера вижу: «Волга» подъехала. Думала, хоть мельком на брата родимого посмотреть. Да толком и не разглядела. А ведь родной, кровный.

После смерти мамы я долго в себя прийти не могла. Соседи следом ходили, боялись, сделаю над собой что. Но со временем да с работой отошла я понемногу.

А тут ещё пришли меня сватать. Мол, ни баба, ни девка, не век одной жить. Прогнала я жениха, дверь закрыла, а саму смех разобрал – не могу. Спустя время сват постучался. Мол, извините, что так вышло. Десять месяцев ходил, потом поженились. Вот до сих пор и живем. Ну, конечно, отец твой.

Еще до знакомства с ним сон мне приснился. Будто принесли мне сапоги хромовые, неношенные. «Не нужны, – думаю, – мне эти сапоги». И выбросила их. Тогда ставят у порога ботинки ста-

рые, поношенные, а подошва хорошая, добротная. И ботинки те со шнурками. Пошла я к одной старухе, что умела сны разгадывать, а та мне и говорит: «Посватается к тебе молодой, холостой. Однако ты с ним не будешь. А выйдешь ты замуж за вдовца с детьми. Человек он простой, рабочий. А душа золотая».

Как она сказала, так и вышло. Пришел он ко мне с тремя детьми. Матушка милая! Два сына от первой жены. Ушла она от него, а детей ему оставила. А третьего мальчика он из детдома взял. Возил дрова в детдом (он тогда шофером работал). И привязался к нему один мальчишка. Раз взял его с собой в кабину покататься. А тот щебечет, смеется, а глаза грустные. Привязался он к отцу, а тот думает: «Уеду и все, не приеду больше. И так своих двое. Попрощаюсь только». А мальчишка отца увидел, бежит по снегу, один валенок в сугробе потерял. Подхватил отец его на руки, а мальчонка руками обвил и говорит: «Папа». Тут уж отец не смог уйти. «Мой, – думает, – где двоим хорошо, там и третьему место найдется».

Вот и снова большая семья стала. Еще ты родилась, нелегко мне тогда было, дошла совсем. Не раз приходила мысль: разойтись. Еще Васина сестра вздумала из-за дома судиться. Мать у них, Мария Семеновна, умерла, а дом остался. Сестра, которая к тому времени вышла замуж за полковника, хотела забрать дом под дачу. А ведь дом был на отца записан, он сам его после войны строил. Так она куда только не писала. Парторг, помню, отцу сказал: «Если б я тебя не знал, то тебя по этим письмам расстрелять мало». Разобрались люди, дом за отцом оставили... А сестру потерял. До сих пор не знают. Отец, конечно, переживает, только виду не показывает. Сейчас тяжело вспоминать, а тогда думала, заберу тебя и уйду куда глаза глядят... Но не смогла.

Помню, возвращаюсь я как-то с работы, а навстречу мне мой «милый», муженёк бывший. Пьяный, еле на ногах стоит. А за ним следом его новая жена: «Ясно, чего ты сюда ходишь. Её поджидаешь». А я в ответ: «Не бойся. Не нужен он мне. Ты вот сейчас его пьяного на себе домой потащишь. Я же домой приду, мой муж не будет знать, куда меня усадить. Боты с ног снимет, напоит, накормит, детей спать уложит».

И ведь точно. Прихожу домой, а он уж ждет меня. Все на столе приготовлено. Дети спать уложены. Обувь с меня снял, а сам у порога встал и виновато так улыбается. Тут и я улыбнулась.

Может, в первый раз за долгое время...

Тополиные сны

*«Ах, если б возможно было
оставить детей со спокойным сердцем
в успокоенном мире».*

(В. Астафьев)

Могли ли они не встретиться? Могли. Каждое из трех ранений отца могло оказаться смертельным.

А мама? Она могла умереть от голода, если бы не старый прабабушкин кокошник да тарелка красного супа, которую моя бабушка несла семь километров, чтобы выполнить последнее желание дочери.

Но они остались живы и встретились через много лет после войны. Они не могли не встретиться...

Мой милый тополь, мой древесный уродец, понимаешь ли ты, какое тяжелое бремя легло на твои хрупкие ветви? Сколько судеб пересеклось, чтобы рос ты! Сколько родов людских образовали твою корневую систему. Чувствуешь ли ты, какие силы в тебя заложены, какими соками ты напоен.

Так вышло, что два огромных родовых дерева не зацвели пышной кроной, а проросли несколькими тонкими тополиными побегам.

Большинство же их ветвей или обломаны, или обуглены войной, или оказались пустоцветом... И растет мой тополек на пришкольном пустыре, зажатый со всех сторон серыми большими домами.

Ночью мне приснился сон. Как будто я приехала в деревню и вхожу в дом. В нем очень холодно и темно, и какой-то нежилой запах. Я сходила за

дровами, растопила печь, и сразу же стало тепло и уютно, запахло сосновой смолой, а огоньки пламени осветили комнату. Над бабушкиным комодом старые фотографии прадеда Ивана Никифоровича с двумя братьями, дедушки и бабушки в день свадьбы, маленького отца на коленях у своей матери. Среди всех этих фотографий выделялся обгоревший по краям снимок дяди Саши в форме танкиста.

Когда я вышла из дома, то увидела, как в небе, сделав несколько кругов над нашим домом, пролетали журавли.

А на середине реки в лодке мой прадед Иван Никифорович ловит рыбу, крича при этом: «Сорок на палку, не тая попала». Я прошу перевезти меня на тот берег, но старик словно не слышит.

И тут я вижу, что и на том, и на этом берегу много людей, и все они смотрятся в воду.

И в этой воде, отразившей множество знакомых и незнакомых лиц, я вижу и свое отражение.

А с неба падают звезды, и от травы они кажутся зелеными.

На миг показалось, что одна из них превращается в огромный шар. Но это лишь показалось.

Кто мне разгадает мой сон?

Марина Васильевна ГУСАКОВА

родилась в 1962 году в городе Кондопога.

Окончила историко-филологический факультет

Петрозаводского государственного университета (1985 г.).

35 лет работает учителем русского языка и литературы

в Кончезерской средней школе.

В журнале «Север» публикуется впервые.

